

Сентябрь радовал погожими днями. Осень словно готовилась к приезду Ивана домой. Потому и встречала, как могла, ласково, перед холодами отдавая последнее тепло. Иван приехал в отпуск вчера, времени у него не так много, и скоро нужно возвращаться на службу... но все же он побудет дома, глотнет, наконец, не чужого, а родного воздуха. Он прошел войну, освобождал Европу. В редкие часы привалов родные места грезилась во сне. И после таких снов было тоскливо и горько, тянуло домой.

Он открыл глаза, не узнавая поначалу, где находится. Иван потянулся, привстал с панцирной кровати. Окно знакомо и тепло манило темно-багряными красками. Иван встал и подошел к нему. Домотканый половик приятно покалывал босые ноги. Неужели он дома, стоит в одних кальсонах, зеваает и почесывает живот, располованный до груди алым в рубцах шрамом?

«Словно праздник какой», — подумал Иван о красках сентября. Не раз с того дня, как ушел на фронт, видел он осень, наблюдал ее в разных городах и поселках, но только теперь ей радовался.

Он прыгнул на панцирную кровать, и замер, покачиваясь на пружинах. Ребячество, конечно, но он ведь так часто представлял, что снова так сделает! Скрип, знакомый, домашний! Дотянулся до тумбочки, нащупал трофейный портсигар.

Иван будто помнил и не помнил день вчерашний, как прибыл на вокзал Воронежа, добрался до окраины и так удачно встретил полуторку, идущую в сторону Нижнедевицка. Его родное село Вязноватовка было по пути, недалеко от райцентра. И он ехал, узнавая знакомые места. Выпрыгнув из кузова, прошелся, размял ноги. С пригорка виднелась вся округа, и село с разбросанными по долине домиками лежало, как на картине. Если бы он умел рисовать, то писал бы картины только с этого места. Спуски, кусты душистой полыни, норки под камнями, а главное — белеющий, лежащий островками мел. Все было родное...

Иван на кровати будто снова видел вчерашнюю дорогу. Как он, подняв сероватый, испещренный белыми дырочками кусочек, вспоминал школьные годы. Когда-то в далекой, будто не его жизни, в туманном детстве он дежурил по классу и должен был принести к уроку мел... В их местах мел был повсюду, так что в теплое время казалось, будто все взгорки усыпаны снегом. Нигде ничего подобного он не встретил, только на родине. Вчера он кусал подобранный мелок, разжевывал и глотал, словно сахар.

Ему дали отпуск! Пусть только теперь, к осени, хотя просился после Победы. Но ведь дали же! Как он этого ждал!

Иван уходил из родных мест мальчишкой, а вернулся возмужавшим офицером. Он даже и не представлял, узнают ли его в форме, с орденами и медалями, когда пойдет по Вязноватовке. Четыре маленьких звезды блестяли на каждом погоне, в них играло солнце. Неужели он дома?

«Да, дома!.. Но словно погостить приехал», — усмехнулся, закурив. Он посмотрел на кобуру, с тумбочки неряшливо свисали ремни портупеи... В ушах зашумело от первых затяжек. Его форму и сапоги жена с вечера очистила, постирала, развесила-разложила у печи-голландки. А вот личное оружие его валялось небрежно, как сбросил и повалился лицом на кровать.

Пуская струйки дыма к потолку, Иван оглядывался, будто узнавал и не узнавал родной дом. Самовар, чугунный утюг, ходики. На гвозде висит шапка, сшитая из старого солдатского мундира времен империалистической войны. Отец, видать, так и ходит в ней в непогоду... Даже подумалось, что может, приснилось, и сон вот-вот растает, отменит его прибытие. Сейчас проснется он по-новому, не здесь, а на службе, и все исчезнет...

«Да нет, не приснилось», — подумал Иван и улыбнулся.

Он затушил окурок, потянулся, встал покачиваясь, умыл лицо, шею, напил из рукомойника. Влага умягчила сушь во рту — вчера отец прямо с порога, обрадовавшись, предложил самогонки, и Иван на голодный желудок выпил железную кружку, налитую до краев. Он велел отцу плеснуть ему именно так. Сказал гордо, что от стаканов давно отвык. Хотел перед ним показаться новым, заматерелым. А зачем? С недосыпа, с перевалок такое началось, что не остановить...

Помнил, как целовал жену, мать, они повисли на шее и пахли пьяняще, совсем уж близко и незнакомо одновременно, женским теплом и сладостью. Но лишь ступил сапогом в тепло, ноги стали ватными, и, закусив налитым в чашку варевом, что мать достала из печи, быстро уснул.

Мутно помнил, как его несли. Мать с женой подняли шум: ругали отца, что, мол, сморил сына дурной сивухой. Но крики эти и осуждение были радостными, они кружились и таяли, как пух в жару. Стало душно, но и хорошо, радостно.

Да что же еще было? Помнил, что жена Настя слегка толкала, гладила долго по плечу, волосам, говорила, что у них в доме событие важное намечается, и спать не будут, пусть шум и беготня его не тревожат. Знали бы, такого шума и взрывов он наслушался, когда засыпал в землянках и окопах!

Вроде бы корова отелиться должна, или что-то... Так и уснул, слушая причитания...

С рукомоЙника стучали по ведерку капли. Холодная вода ободрила. И он по-армейски быстро, будто кто-то из командования мог войти, стал одеваться. Подошел к зеркалу. По звездам на погонах капитан, а по выправке генерал генералом! Но вот она, предательская седина, морщины на лице. И это... он? Да, он! Крепкий, и всего-то ему тридцать три года... По сравнению с отцом — парень еще совсем.

Но выглядел он все же лет на сорок пять. И понимал, что годы войны закрутились, как бешеное колесо, и каждый из них стоил десятилетия. Иван видел, как старели за считанные дни. Видел, как седели за ночь. И видел, как умирали на глазах, в секунду, за которую и не моргнешь.

Нет, не об этом надо думать. Иван верил, что, приехав домой, родная земля поможет, научит, как уложить все, что было, в какой-нибудь дальний сундук памяти, закрыть и выбросить ключ. Она сделает прошлое именно прошлым, как версты пути, что остались позади и улеглись пылью дорог. Он отдохнет, наберется сил, и вернется к службе из отпуска, новым, иным, сумевшим забыть. Но, стоя и глядя на себя, понимал: все, что пережил, с ним навсегда. И родина, пусть теплая и близкая, дом, жена, мать с отцом, ничем уже не помогут.

Он снова сел на кровать, радости и след простыл. Иван приехал домой не тем, кем был. Ушел одним, а вернулся... Так что же было вчера. Вспомни!

И вспомнил!

После отцовской кружки и маминого вкусного варева его немного перемякло. Немного ли? Он достал пистолет, стал кричать. На миг перед глазами вспомнился бой, словно видел опять огонь, реку Одер, мельницу на другом берегу, в которой засел снайпер... И он, побледнев, сжал в красной ладони ТТ, дуло колебалось, порой опасно чернея на родных. Он опрокинул стул, побежал в атаку и упал в дверях, став непривычно мягким и слабым. Кто-то снял португезу, раздел, лег рядом. Ведь он снова шел в атаку, или нет?

Нет.

Все вчера смешалось, черт возьми. Тот самый страшный его бой, от которого остался длинный рубец на животе... он возвращался кошмаром снова и снова, и не всегда во сне.

Теперь Иван, наконец, вспомнил, как перепугал близких. А вдруг и дома он теперь один только потому, что все спрятались? И никто не рад, что он вернулся таким чужим? Лишь слегка сохранившим облик сына и мужа?

Иван обхватил голову и замер...

Дверь скрипнула, и вбежала жена. Он даже испугался ее, и не поднимал лица:

— Вань! — сказала она. Но не испуганно, а с тихой просьбой. Может, он опять насочинял лишнего, и вчера вовсе не дурачился, не выхватывал пистолет? Не было, дай бог, ничего этого, больного и пьяного.

Он посмотрел на нее.

«Утро только, а Настя уж в мыле, как лошадь, — подумал он. — Работает, а он валяется, мается от чего-то, как барчук».

— Вань, ты как спал? — Она поправила мокрый платок. — Ты прости, тут у нас... Корова это... А соседка-сорока, болтать любит, вот на хвосте и принесла, будто соль в магазин привезут! То ли правда, то ли брешет! Мы соли, считай, всю войну не видели. И дома ее нет и в помине, сам понимаешь. Хоть из пота своего выпаривай!

И она наклонилась, поцеловала. Как-то виновато прошептала:

— Если надумаешь по селу пройтись, может, раздобудешь? Нам бы соли сейчас, ох как!

Иван заулыбался, поняв ее стеснение. Ей было неудобно. И перед ним, и особенно перед селом. Вчера только вернулся муж, какая радость! Все уж знают. Мало ведь к кому вернулись-то! А она его — за солью!

— Ну, это если получится у тебя, Вань. Там очередь уже с вечерних потемок стоит, бабы передрались еще до полуночи. Я бы сама встала, да отелилась, наконец, наша Брыкуха, мы с отцом и не спали.

— Не бери в голову. — Он поднялся.

— Да пойми, я бы сама за солью-то...

Вместо слов Иван прижал ее, целовал жарко. Настя, все тело ее, грудь, казались теплыми, пахнущими молоком и домом. Она прижалась к нему, жарко отвечала на ласки.

Тикали ходики...

Без соли жизни нет, это понятно, — думал Иван. Но если Настя и не попросила бы, он так и так отправился бы по селу. Его тянуло посмотреть, узнать, что да как, особенно про друзей. Трое их дружков было до войны. Он, Андрюха, да еще третий по прозвищу Рыло. Лицом не вышел, потому и по имени никто не звал, и в глаза, и за глаза только так и звали. Добродушный был, веселый парень...

Он шел краем размытой дождями дороги. Его с визгом обогнали дети. Иван улыбнулся, подумал — спешат в школу. Но дело, похоже, было не в этом. Первой, часто оглядываясь, бежала девочка. Она на миг остановилась, посмотрела на его форму, портупею с кобурой, — наполненные слезами глаза молили о защите. Она скомкала у груди серую из мешковины авоську и бросилась дальше, но разношенная обувь увязла в грязи, и она упала. Трое пареньков лет десяти обступили ее, как долговязые щенки слабого котенка, и ругались, били ее дрожащее тельце. Иван побледнел и тут же вмешался, схватил одного за ворот:

— Вы что, изверги! — И несмотря на то, что это были дети, крепко выругался.

— Дядь Вань, здрасти! — сказал тот, которого он схватил, тяжело дыша. От его вида кровь прильнула к лицу, даже захотелось ударить. Неужели он воевал ради того, чтобы дома видеть, как избивают девочку?

Мальчишка поднял испуганные, но полные уважения глаза, сбивчиво объяснял:

— Да мы это, того... Это Голушка! Она полицаева дочь! Мы ее ненавидим!

— И правильно! — осмелился сказать еще один.

— Прекратить, молчать! — выкрикнул он и помог девочке подняться. Мальчишки сбились в кучу, стоя в сторонке, поджали плечи, как воробьи перед бурей.

— Идите отсюда, чтоб я вас больше не видел! К каждому домой зайду, и каждого отец выпорот! И чьи вы такие-то, а!

— У нас нет больше ни у кого отцов, дядь Вань, — сказал тихо один из ребят и заревел.

Девочка поднялась, обвилась вокруг его ноги и тоже плакала. Иван, ничего не говоря, понес ее на руках в школу, вспоминая, как тоже ходил когда-то по этой дорожке на занятия.

В школе встретил учителей. Казалось, в какой-то не его, а далекой, или даже прошлой жизни они объясняли ему, как писать и читать. Только встреча радостной не была.

— Дети все видели, пережили, — сказала учительница, выслушав Ивана.

— Она не виновата. Вы их что, оправдываете?

— Нет, мы им объясняем. Но изменить ничего не можем. Война закончилась, но не прошла. И не скоро пройдет... для нас всех. И, к сожалению, для детей тоже. Они такие же участники войны.

Девочка кое-как очистила одежду и встала у окна, грустно смотрела, как ветер играет листьями клена.

Ивану нечего было сказать, и он ушел. Спросил только:

— Как ее зовут?

— Валечка Головина.

«Головина... Знать, Голушка-отец в полицию подался», — мрачно подумал он. Жив ли, в лагере? Не важно. Дочь теперь ответ несет за него. Неправильно — да. Но и по-иному не получится.

Иван уходил, вспоминая лица ребят. Он тоже ненавидел фашизм и пособников его. Но понять и принять то, что увидел, не мог. Если такими стали дети, так изменился он, значит, весь мир искалечен войной? Мир не изменить, как не исцелить рубец, что идет у Ивана от живота до груди.

И как дальше жить с этим?

* * *

— Иван, Ванюшка, а ну постой, куда так браво вышагиваешь! Аж пыль столбом стоит от твоих сапожищ! — услышал он голос, показавшийся знакомым. И только когда поднял угрюмые глаза, увидел старика в телогрейке и шапке-ушанке — он в любую пору, кроме жаркого лета, одевался так. Дед бежал, семеня ногами, от своего двора.

— Яков Евсеевич, здравствуй! — один вид дедушки, которого он знал с самого детства, на миг вернул ему настроение. — Рад видеть, что жив-здоров!

— Да вот, уж давно за восемь десятков годков, а бегаю! — он слегка обнял Ивана, как родного. — Ну, рассказывай, как да что?

— Не спеши, все расскажу. Ты лучше мне сам открой тайну: привезли соль или нет?

Яков Евсеевич смерил его игривым взглядом, усмехнулся в желтоватые усы. Ничего не сказал, а все ж видно было, подумал: жена послала Ваню за солью, зная, что фронтовику не откажут. А, может быть, радовался тому, что и ему, как участнику империалистической, с таким добрым молодцем нет-нет да отсыплют соли.

Они шли к центру села, солнце медленно поднималось.

— Вань, а вот говорят, что нам в центре села поставят какой-то репродуктор, навроде блюда огромного, говорить умеет. Будто бы в Москве сказали, а тут слышно. Правда, аль брешут?..

Очередь тянулась издалека. Иван здоровался со всеми, но шел в стороне от длинной, как змея, вереницы баб и стариков. Ему отвечали, но слышалось также:

— Гляди-ка, и Евсеич увязался, хитрюга!

— Ему-то можно! — ответил кто-то.

— Это да, — сказал третий голос, Иван понял, что к старику хотя и относились с юмором, но и с уважением. С улыбкой — потому что был он добрым и неунывающим, а вот с почтением? Не за возраст ведь, и не за участие в империалистической?.. До войны-то иначе было.

— Так, бабоньки, хватит ругаться, видите, какого человека важного веду, посторонись! — сказал Яков Евсеевич и присвистнул, будто пастух разгонял столпившихся неуклюжих коров.

Евсеич поднялся по бревенчатым скрипящим ступенькам, дернул ручку — дверь заперта.

— Ишь, разбежался, — раздался женский голос. — Не открыли еще.

— Так мы и пришли к открытию-то, а вы ж поди за ночь друг другу все волосы повыдирали?

— Не смейся, Евсеич, плохо это! — раздался обиженный голос.

— Да я все понимаю. Не деритесь, нам же дружно надо держаться, такое пережили. Фашистов видели, мадьяр проклятых, а теперь что же, народ, давай из-за соли глотки своим вырывать?

Очередь пристыжено молчала, и в этот момент скрипнул засов на двери. Евсеич и Иван вошли первыми. Это никто не обсуждал.

* * *

— Вам сколько? — спросила продавщица Маша, глядя на Ивана с уважением. Когда он уходил на фронт, ему было двадцать восемь, а ей всего шестнадцать. Он узнавал и не узнавал в молодой женщине былую девчущку. И снова подумал, что война быстро добавила годков всем, не только тем, кто смотрел ей в лицо с оружием в руках.

— Как всем, — ответил Иван.

— Держите, товарищ капитан! — она потянула кулек, а Евсеичу насыпала в шапку.

— Да ладно, «товарищ капитан», будет тебе! — усмехнулся он. — А деду-то почему не в кульке?

— А это только для вас, у меня был просто кулечек-то припасен. А так нет.

— Ну вот, какая я важная птица, осталось только хвост распушить! — и они рассмеялись.

— На всех-то хоть хватит соли? — спросил Иван.

— Не знаю, — развела руками Маша.

— Ты уж постарайся, отмерь всем по совести. В школе-то ведь по математике хорошо справлялась!

— Вот-вот! — добавил Евсеич. Он хотел надеть шапку, будто на миг забыл, что там соль. — Эх меня, старого!

Они уж было вышли, но Маша окликнула:

— Пойдите, пойдите! — она подошла к Ивану. Девушка была ниже

его на голову, и потому смотрела сверху вниз просящими глазами. — Вы ведь, наверное, к Андрюше зайдете, к другу?

— Да, — сказал он. — Сейчас к нему и пойду.

— Я соврала вам, простите. Есть у меня... еще один кулечек, ему и тете Вере передайте! Скажите, от Маши, хорошо?

— Да что он, инвалид что ли немощный, сам и придет, брось. Или мы с ним зайдем позже. Его, как фронтовика, тоже без очереди обслужи, да и все!

Евсейч и Маша переглянулись, девушка заплакала. Иван посмотрел на старика жгуче и вопросительно, а тот забрал у зареванной продавщицы кулек, протянул ему и сказал, вздохнув:

— Ты же к нему идешь. Вот и передай, раз просят.

И вновь Иван зашагал так, что от ударов сапог едва не проломилась доска порога. Он не смотрел ни на кого, ускоряясь. Он ничего не мог знать про Андрея, вчера не спросил у родителей, и потому проклинал себя за сказанное.

Каким он увидит друга?

Знакомый дом, палисадник. Здесь они любили играть — Ванюша, Андрюша и Рыло. И смех, и грех, но ведь их троицу только так и называли. Иван постучал, но не стал дожидаться, вошел в сенцы.

Первым он увидел мать друга. Та осунулась, высохла, черные, как у синицы, глаза едва были видны из впалых глазниц. И лицо темное, скулы натянута темной кожей:

— Тетя Вера, здравствуйте! Это я, Ваня, узнали? Где Андрюха, что с ним?

— Мама, кто там? — послышался знакомый голос.

Иван вбежал в комнату и увидел, как за столом, в одной белой вытянутой майке сидит за накрытым обеденным столом старый друг. Был он крепок, руки жилистые, на правом плече синела наколка в виде танка Т-34.

На миг их глаза сошлись, Иван не мог пошевелиться. Промелькнула мысль: да что за враки-то! Вот он, сидит за круглым столом, который укрыт белой, до самого пола скатертью. Он просиял:

— Ну что, не ждал?!

— Ванюха, родной ты мой! — выкрикнул Андрей. — Иди-ка обниму, рассмотрю тебя всего, дружище! Ну что, пехота, выпьем по одной? Мама, носи все что есть, сегодня пировать будем!

Они говорили сбивчиво, Иван на радостях переходил с одной темы на другую.

— А я, представляешь, Якова Евсеевича встретил, ох и веселый он, будто года ему не помеха.

— Евсейч — человек! Я бы сказал, человечеще, — ответил Андрей. — Ты и не слышал, поди, про нашего-то Сусанина? Хотя когда тебе...

— А что?

Андрей рассказывал, что знал от других сельчан. Во время оккупации немцы сделали инвалидом дочь старика — Настю. Враги готовились отступить после битвы за Воронеж, терпели одно поражение за другим, было много раненых, которым требовалась для переливания кровь. Немецкие врачи, хотя можно ли их называть врачами, выкачали из Насти кровь — прямо шприцами. Она чудом выжила, но с тех пор не может ходить. В Вязноватовке у немцев стояла дальнбойная артиллерия, отвес-

ти ее по основной дорожке он было нельзя. Нужно было найти безопасный путь к станции Нижнедевицк.

— Вот и Евсеич пришел к их командованию, поклонился, так, мол, и так, охотник он, хорошо знает местность. Готов помочь вывести за вознаграждение. В общем, пыли в глаза напустил, как умеет, у него этого не занимать. В городе он бы, верно, артистом мог стать, — продолжал Андрей. — Немцы ему карту показали, он им и прочертил путь. Прямоком... через торфяники, в общем...

— Во дает дед! — усмехнулся Иван.

— Но они ему говорят — пойдешь с нами! Он ни в какую, но потом понял, что отказаться не удастся. Видно, тогда решение принял — погибать так погибать! А может, и нет, кто его разберет. Вот и поехали они колонной, в сторону Поповского особняка он их повел, а там от родников и зимой толком не замерзает, сам знаешь, корка одна образуется. А орудия, говорю, у фашистов тяжелые. Одна пушка у них, по рассказам, была огромная. Как же она, проклятая, называется? Берта, что ли. Шли тягачи, но их на самом подходе наши бомбардировщики и настигли. Немцы бросились вперед, да по горло в жижу проваливались. А он под шумок, по знакомым тропинкам давай тикать, знай его. Только рассказывать об этом не любит, я больше со слов других знаю. «Что я, подвиг, что ли, какой совершил, бросьте! Это все наши орлы-летчики», — говорит.

— Неправда, молодец он, — сказал Иван, поняв, наконец, почему к старику относились с заговором, но почитительно.

— А сын его Василий тоже с фронта пришел. Снайпер, весь в отца-охотника. Пятьдесят немцев, говорят, ухандочил. То-то же!

Когда выпили по третьей, в голове зашумело, и Андрей сказал:

— А ну-ка, пехота, подай-ка нам, танковым войскам, капусточки вон той!

— А ты чего, совсем уж обленился, тянуться лень!

— Да я, брат, — Андрей опустил вилку. На миг показалось, что наколка с танком на плече потемнела. — Я после Прохоровки уже не человек, а полчеловека всего.

Иван вскочил, отдернул скатерть. Не было у Андрея обеих ног.

Они долго молчали, выпив несколько рюмок без тостов и возгласов. Иван, переживая увиденное, все же обратил внимание — вся еда на столе пресная. И вспомнил про соль:

— Вот в магазине был.

— Значит, не брешут, привезли все-таки! — обрадовался Андрей. — Мам, посмотри, Ваня с собой настоящий праздник принес! — И замолчал. Праздника никакого не было: — Постой, а ты что же, свою отдаешь, что ли?

— Нет, Маша просила передать. Она... — Иван на миг заколебался. Фронт научил его мигом разбираться в ситуации, в людях, и говорить напрямую. — Она тебя любит, и крепко.

Андрей оперся головой на ладонь, в помутневших пьяных глазах проступила влага:

— Не дури! Что душу-то мне бередишь, а? На кой я ей такой! Говорю, полчеловека ж всего осталось.

— А вот это ты не дури! «Полчеловека». И чтоб больше не слышал. Нужен, и всем нужен! Ты же до войны плотничал, как и твой отец, и дед. А в этом деле, как-никак, руки важнее. Так что сдюжишь. И семья будет, и детки, и я в помощь всегда рядом. И будет все хорошо, как раньше. Рыло вот, кстати, третий наш дружок, втроем сладим. Он-то как?

Только не говори, друг, плохого! Насмотрелся, наслушался за сегодня. Ведь не погибло Рыло-то наше мордатое?

Мать Андрея замерла, стоя поодаль у серванта. Она переглянулась с сыном. Тишина, лишь кот прошелся под столом и тронул Ивана мягким хвостом.

— Не погибло Рыло, куда ему, — ответил Андрей и стал жевать корку хлеба, будто на этом разговор о третьем друге окончен.

— И что же? — Иван, когда злился, имел привычку: доставал из кобуры пистолет, клал на стол и смотрел на него. Вот и теперь он машинально вытащил ТТ, невольно задев со звоном тарелки.

Мать, увидев оружие, ушла на улицу, Андрей не реагировал, дышал спокойно и смотрел отстраненно, будто был в комнате один.

— Так что, скажешь, или нет? Может, я уж тогда пойду? — самогон ударил Ивану в голову с новой силой, и он становился иным человеком. Агрессивным и решительным.

— Сиди уж. Не видишь, что ли, говорить про то не хочу.

— А придется!

— Остынь, Вань!

— А ты не подогревай! — Он взял пистолет, хотел убрать в кобуру, но снова положил рядом с тарелками. — Так что Рыло-то?

— Да дезертировал он.

— Что?

— Что слышал. Приперся в сорок втором домой, а тут ведь немцы с венграми были, и спокойно себе жил.

— При фашистах? И где он теперь? Осудили его, расстреляли?

— Да здесь он, в Вязноватовке, где ж ему быть?

Иван вскочил.

— Сядь, наделаешь дел! Давай лучше выпьем! — Было видно, что Андрей пожалел о том, что рассказал другу. Но его добродушие не помогло.

Иван без слов вскочил, пошел к двери, но вмиг развернулся на каблуках.

В гневе он забыл пистолет.

* * *

«Рыло поганое, как человека обзовешь, так он век и проживет, — Иван вновь стучал сапогами по пыли. Он распугал стайку воробьев, они поднялись с дороги и, чиликая, разлетелись по ветвям.

«Дезертировал он!» — снова вспомнились слова Андрея.

Он подошел к знакомому дому, который за годы войны сильно просел и слегка наклонился, будто по нему, как по бессильному лежачему, настойчиво били и били коваными сапогами. Здесь жил тот, кого Иван когда-то считал другом и был готов постоять за него насмерть, если придется. Вспомнилось, как мальчишками они играли вот здесь, в зарослях лозняка, представляя себя чапаевцами. А там, через дорогу, в овраге был коварный враг, превосходящий их в разы по численности. Беляки затихли до поры до времени, не зная, что ребята задумали атаковать первыми и сломить их неожиданным ударом. И они лежали на животах, прижавшись плечом к плечу, сжимали в руках длинные палки. И каждому представлялось, что на самом деле у них винтовки. Сначала перестрелка, а потом бросаются они в рукопашную, в бою держась друг за друга.

«Дезертировал он!» — вновь хлестнуло, как жгучей крапивой.

Иван толкнул дверь, почуяв крепкий запах капусты и антоновки:

— Рыло, выходи давай, вываливайся!

На пороге показался человек, которого было не узнать. Может, дезертир живет не у себя, прячется где-нибудь от стыда за селом в землянке? Незнакомец стоял босиком, в одних кальсонах, с полотенцем на плечах. Лицо обильно намылено — готовился, видать, бриться. Иван пригляделся — нет, он!

— Ну что, Рыло, все рыло у тебя в пушку?

— Ваня, Ванюша, ты что ли? — обрадовался было тот, но увидев злые, с ядовито-красными прожилками глаза, а главное — руку, лежащую на кобуре, попятился. — Ты чего это?

— Это ты чего, Рыло? Давай-ка на свет выходи, сюда-сюда, на свет божий, чтоб он тебя сжег-покарал! И как на духу выкладывай всю свою мерзость. Как с фронта драпал, когда Андрюхе ноги перебило, а меня контузило! Как ты бежал от врага, обделав штаны и дрожа, а потом смел в Вязноватовку прийти, жил тут припеваючи с теми, кто бил и насиловал сельчан! Ну, говори-говори? Или добавить больше нечего, все ведь сказано?

— Да что ты, Ваня, кто тебе такое рассказал? — и он неуверенно похлопал его по плечу.

Иван ударил по руке.

— Хватит драться-то, мы в детстве-то никогда не дрались, не разлей вода ведь были!

— Детство вспомнил. Еще и кривляешься? — Уши Ивана покраснели. — На колени!

— Да ты что?

Иван ударил носком сапога по голени, Рыло екнул и повалился. Через миг в лоб уперся ствол ТТ:

— Да подожди ты так, не надо! — Рыло говорил сбивчиво, плечи тряслись.

— Или ты начнешь выкладывать, или!..

— Да не дезертир я, говорю же, не дезертир! Под Харьковом в окружение попал, ей-богу, чудом выйти смог. И куда мне? Одна дорога — до дома, не так уж далеко ведь! Ну посуди сам! Вот и пришел. А тут немцы.

— Да что ты говоришь, немцы? И приняли они тебя со всем немецким радушием? Как своего? И ты не растерялся, жил себе припеваючи? Ну а потом, давай, ври дальше!

— Да не вру я! Село наши быстро освободили, и я снова с войсками...

— О, да ты еще, видать, и герой! Хватит брехать да извиваться, пора кончать. Мне все ясно.

На плечо Ивана легла рука. Он опустил пистолет, обернулся.

— Ты чего это, Ваня, так расшумелся? Ты как тот репродуктор, только наоборот — тут сказал, а в Москве слышно! — Он увидел сутулую фигуру Якова Евсеевича. Тот, как всегда, улыбался, но в глазах читалась тревога.

— А ничего, дедушка, — он вновь обернулся к замершему в страхе на коленях Рылу. Потом осмотрелся, нервно кидая взоры по двору. Сначала взглянул на старый, раскинувший ветви клен, а затем перевел взгляд на припертый к сараю пенёк.

— Так, встать! — скомандовал он. — Быстро кати этого поросенка сюда! Уж больно этот пенёк на тебя похож!

— Это зачем? — Рыло тяжело поднялся, но выполнил требование.

Повалив на попа черный, покрытый лишайником пенек, кряхтел и волок его, как бочонок вина.

— А теперь стой здесь, и ни с места! — Он вновь навел на Рыло пистолет. — Шаг влево, шаг вправо, это понятно?

Иван ударом ноги сбил дверь сарая, она со скрипом провалилась внутрь, слетев с петель. Он долго что-то искал в потемках. Наконец появился, наклонившись в узком низком проеме, и Рыло зажмурился — отражение солнца от звезд на погонах обожгло глаза. Когда он снова посмотрел, Иван стоял рядом. От локтя до пальцев он намотал толстую пеньковую веревку.

— Ты чего удумал, Ваня? — вступился Евсеич. Он больше не улыбался. — Оставь ты, будет с него!

— Не оставлю! — Иван весь пылал, и старик только теперь понял все, учуяв резкий запах самогона, настроенного на хрене. — Судить тебя буду, Рыльце в пушку, по законам военного времени!

— Ты что, Ваня, брось, нет войны больше, и не стало ее законов. — Яков Евсеевич преградил ему путь. — С тебя за самосуд не только погоны снимут, а отправят на край Руси-матушки лес запасать.

— Да, Ваня! — вмешался Рыло.

— Замолчи! — прикрикнул Евсеич. Иван никогда не слышал такой резкости в голосе старика. — И не это главное даже, Ваня, далеко не это! Сам посуди, как дальше с этим жить сможешь?

— Буду жить, не беспокойся! — ответил спокойно Иван. — Не такое видел, и делать приходилось не такое. На фронте пойманных дезертиров расстреливал, и даже лиц и имен не помню. Душу не грызут, во сне не снятся.

— Не о том я, Ваня. Как дальше жить будешь с этим, говорю? Даже если и оправдаешься за свой суд. Как людям, как своим в глаза посмотришь?

— А что? Он же дезертир?

— Да пусть так, хотя это и не так просто все, но речь только о тебе идет.

Рыло с надеждой смотрел на старика.

— Другое ты никак не поймешь, главное не улавливаешь! Немцы, мадьяры тут были, такое натворили! Вешали, стреляли люд мирный. И тут ты пришел, свой, капитан, победитель, гордость наша! И тоже — как они, да? Туда же?

Иван с трудом сглотнул слюну, промолчал. Обвел глазами старика, Рыло, и стал разматывать веревку. Умело скрутил петлю, поднял глаза, оценивая, какая ветка будет надежней. С презрением посмотрел на Рыло сверху вниз, тот сам упал на колени.

— Давай!

Рыло, покачиваясь, поднялся на ватных ногах, с надеждой посмотрел на старика, как на единственного в мире человека, который еще может все исправить. Но тот вздохнул, покряхтел и отошел в сторону. Рыло видел лишь его сутулые плечи. Евсеичу добавить больше было нечего.

— Я тебе сказал, давай! — Иван вновь достал ТТ.

Рыло встал на пенек и тут же свалился, как набитый трухой мешок. Вновь с трудом поднялся. Прежде чем просунуть голову, дрожащей рукой собрал с лица мыльную пену, протер ей веревку.

— Вот так, молодец, помягче будет! — поддержал Иван.

— Ваня!.. Ваня, а помнишь, как мы в чапаевцев играли? Тут мы, нас трое, а там враги, их больше? А мы вместе...

Тот молчал.

— А помнишь, как на рыбалке ты ногу подвернул, и мы с Андрюшей тебя несли домой от самой мельницы. Еще дымка такая была...

Тишина.

Рыло выдохнул, на миг перевел взгляд на небо. Просунул голову в петлю:

— Думай, как хочешь. Но знай, все-таки не дезертир я! Про окружение под Харьковом я правду сказал! И все правда. Мне нечего стыдиться, ну или... Да и ты бы на моем месте если б оказался...

— Я не на твоём месте! — Иван чуть отодвинул ногу, готовясь к удару, носок сапога расчертил землю. Пели птицы, пахло сентябрем — сладким запахом увядания, ухода в небытие всего, что росло и отжило свой год на земле.

— Вань, а Вань! — Рыло опустил глаза и заплакал. — А у меня селедка есть! Хорошая, жирная такая! Отличная селедка, Вань. — Он всхлипнул. — И самогонка тоже есть, крепкая. Целая бутыль, правда. Пощади, а?

Иван замер. Евсеич повернулся к нему.

Подуло теплым воздухом с запахом картофельной ботвы.

— Селедка, говоришь? — Иван вновь замолчал. — И самогонка? Ладно, тащи сюда!

Старик усмехнулся.

— Правда? — Рыло не решался вытащить голову.

— Тащи, говорю, пока я не передумал!

Рыло попытался освободиться, он нервничал так, что мог сам соскочить с пенька и затрепыхаться на веревке. Наконец, он сбросил удавку, спрыгнул и кинулся к двери. На пороге он рухнул, угодив лбом об косяк. Над бровью заалела кровь, однако он снова вскочил, скрылся, загремел посудой...

* * *

Иван и Яков Евсеевич вышли из проулка к центру села. Капитан расправил форму, оглядел себя — не испачкался ли, а то люди увидят, нехорошо. Он отряхнул галифе и на миг поднял глаза, присмотрелся вдаль. То ли самогон начал с дурным послевкусием выходить из него, отдавая нехорошим шумом в голове и маревом в глазах, то ли все сильнее пригревающее солнце дурманило голову. Он посмотрел на дорогу, и в легкой дымке едва различил три далекие фигуры. Двое ребяташек будто несли третьего, подхватив за плечи. Видать, бедолага подвернул ногу.

Ванечка, Андрюша... и Рыло...

Иван и старик прошли мимо сельмага. Очередь заметно поредела, но людей оставалось много. Маша, видимо, заметила их в окне, выбежала на порог:

— Товарищ капитан, а вы передали Андрею-то?

— Передал, Машенька, передал, и от него у меня тебе есть, что в ответ передать! — Он хитро улыбнулся. — Он кланяться велел и сказал, как магазин закроешь, чтобы в гости приходила. Будем все вместе хлеб-соль кушать. И селедку заодно, вон она, у Евсеича!

— Правда, прямо так и сказал? — Ее лицо заалело от смущения и радости.

— А то! Мы вот пока посидим, поговорим за жизнь, но тебя как дорогую гостью будем ждать! А потом на танцы! — Иван сжимал бутылку самогонки под мышкой.

Она убежала в магазин, прячась от смущения. В очереди смеялись — у женщин теперь было о чем поговорить в скучной, опостылевшей еще с минувшего вечера очереди. Иван посмотрел на них с теплотой. Родные. Выстояли войну. И будут стоять всегда и столько, сколько потребуется.

Евсейч вздохнул:

— Про танцы ты зря, ну переборщил. Не смешно даже... Вань, может, и хватит тебе самогонки-то на сегодня? А то уж я с тобой побегал за утро, весь испариной покрылся, хоть как в молодости без шапки и телогрейки ходил.

— Это ничего, Сусанин! Это жизнь греет, жизнь! Новая. Совсем-совсем другая...

Он вновь посмотрел вдаль, пытаюсь различить в дымке силуэты трех мальчишек.

Их не было. Они ушли навсегда.

